

# ПАСЬЯНС



СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

manere liberum

Последнюю карту не открывать

18+

**manere liberum**

# **Пасьянс**

*<https://litres.ru/74676402>*

*SelfPub; 2026*

## **Аннотация**

Меня нет ни на одной карте. Я проверял.

Ему сорок веков. Он не рождался — он начинался: в темноте, со счёта. Раз. Раз. Раз. С тех пор снимает людей, как комнату у вокзала, — не разуваясь. Был тибетским перерождением, шанхайским крупье, куском пражской глины. Он тщеславен и ломает судьбы без злобы — из любопытства: как ляжет карта, если подтолкнуть её ногтем. Правило одно: последнюю карту не открывать.

Теперь он прячется в Копани, где ночами пахнет морем, которого нет. Соседи один за другим становятся «пустыми»: сидят у телевизора и не моргают, а на веках — красные вмятинки, как от зажимов. Их любимые вещи всплывают в ломбарде — с бирками, почерком как в прописях. Алкоголику Гере правду говорят только вещи. Первой заговорила зажигалка.

Хозяина ломбарда никто не видел. Он всегда стоит там, куда не падает свет, и с каждым веком всё лучше притворяется человеком.

Лампочки в Копани перегорают часто.

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| РАСКЛАДКА НУЛЕВАЯ. ПРИКУП         | 6  |
| ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОДНАЖДЫ В КОПАНИ    | 10 |
| РАСКЛАДКА ПЕРВАЯ. ТИБЕТ           | 18 |
| Г                                 | 42 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 43 |

# Пасьянс

*Меня нет ни на одной карте. Я проверял.*

Ему сорок веков. Он не рождался — он начинался: в темноте, со счёта. Раз. Раз. Раз. С тех пор снимает людей, как комнату у вокзала, — не разуваясь. Был тибетским перерождением, шанхайским крупье, куском пражской глины. Он тщеславен и ломает судьбы без злобы — из любопытства: как ляжет карта, если подтолкнуть её ногтем. Правило одно: последнюю карту не открывать.

Теперь он прячется в Копани, где ночами пахнет морем, которого нет. Соседи один за другим становятся «пустыми»: сидят у телевизора и не моргают, а на веках — красные вмятинки, как от зажимов. Их любимые вещи всплывают в ломбарде — с бирками, почерком как в прописях. Алкоголику Гере правду говорят только вещи. Первой заговорила зажималка.

Хозяина ломбарда никто не видел. Он всегда стоит там, куда не падает свет, и с каждым веком всё лучше притворяется человеком.

Лампочки в Копани перегорают часто.

*Содержит нецензурную брань, сцены насилия и употребления наркотиков. 18+*

*«Одиночество — это когда тебе некому соврать». — приписывается Единственному; проверить не у кого*

*«Величайший враг спрячется там, где ты станешь ис-*

*кать его в последнюю очередь». — Юлий Цезарь, 75 г. до н. э.  
(если верить надписи маркером над кассой «Фортуны»)*

# РАСКЛАДКА НУЛЕВАЯ. ПРИКУП

Меня нет ни на одной карте. Я проверял.

Давайте сразу, чтобы потом не было обид: я не человек. Человек — это квартира. Я в них живу. Иногда годами, иногда одну ночь: младенец, которому не суждено дотянуть до утра, тоже годится, если очень надо переночевать. Я снимаю людей, как снимают комнату у вокзала, — не разуваясь, не распаковывая чемодан, не запоминая, как зовут хозяйку. Хозяин при этом никуда не девается. Он ест, спит, ругается с женой, проигрывает получку и не подозревает, что у него на антресолях кто-то живёт.

Иногда я живу в собаке. Однажды жил в корове — лучшая жизнь из всех, вспоминаю её с нежностью. Однажды — в глине. Про глину потом.

Сколько мне лет, не знаю. Это не кокетство. Чтобы знать свой возраст, надо помнить, когда родился, а я не рождался — я начинался. Где-то в темноте, в которой ещё ничего не было, кроме счёта. Раз. Раз. Раз. Потом я придумал «два», и стало не так одиноко. С тех пор я придумал очень много чисел, и ни одно так и не сгодилося мне в собеседники.

Про меня нужно понять одну вещь.

Я осознаю себя постепенно. Каждый раз заново. Въезжаю в новое тело пустым, как чистый лист, и первые годы честно думаю, что я — вот он: мальчик, торговка рыбой, старый ча-

совщик. Потом начинаю вспоминать. Сначала мелочи: запах ячьего масла, которого в этой стране нет. Слово на языке, который умер триста лет назад. Как правильно держать чётки — большим пальцем от себя. Потом лица. Потом города. Потом — всё.

Перед «всё» я и останавливаюсь.

Если вспомнить себя целиком, с самого начала, со счёта в темноте, придётся посмотреть на то, что лежит в самом низу колоды. Что я один. Что никого, кроме меня, нет и не было, а всё остальное — пасьянс, который я раскладываю, чтобы было на что смотреть. Самое милосердное в мироздании — неспособность ума связать воедино всё, что в нём лежит. Я долго думал, что это сказал один угрюмый американец с длинным лошадиным лицом. Нет. Это моя мысль. Он просто записал её, пока я у него гостил, — он вообще много чего за мной записывал и всё переврал в сторону щупалец.

Так что правило у меня одно: последнюю карту не открывать. Как только я подхожу к краю — к той точке, где ещё полшага, и я пойму, — я ухожу. Умираю, засыпаю, переезжаю. Новая квартира, новая раскладка, новое неведение. Это не трусость. Это гигиена.

И ещё одно я заметил давно, ещё до Тибета.

Вещи, к которым я прикасаюсь, помнят меня лучше людей. Не потому, что вещи живые. Нет, они мертвы, как и положено вещам: чашка не думает, нож не ждёт, часы не скучают по руке. А потому, что люди — тоже нет. Живым чело-

века по умолчанию не делают. Ему выдают тело, адрес и имя, но живым он становится, только когда сам назначит своей жизни смысл. Большинство не назначает никогда. Ест, спит, боится и смотрит в окно, за которым ничего не происходит. А чашка, из которой сорок лет пила мать, полна смысла по самые края, — потому что кто-то его туда налил. Вот почему вещь, в которую вложили смысл, всегда немножко живее человека, который его никуда не вложил. Это не мистика. Это бухгалтерия.

Есть в этой бухгалтерии графа, которую я заполняю с завитушками. Я тщеславен. Знаю и не лечусь. Люблю быть умнее всех в комнате, а я всегда умнее всех в комнате, даже когда комната — корова. Формулировки я раздаю хозяевам, как пьяный купец — на чай: один моей остротой прославился, другой за неё сел. Судьбы я тоже ломаю. Зла в этом нет: для зла нужно иметь о человеке мнение. Есть любопытство — как ляжет карта, если подтолкнуть её ногтем. В grossбухе это идёт по статье «прочие расходы». Расходы, правда, не мои.

Японские монахи уже третий век гадают, как звучит хлопок одной ладони. Я знаю: как мой. Я аплодирую себе руками, которые сам придумал, из зала, который сам рассадил, и вызываю себя на бис. Со стороны это смешно. Только стороны нет. Гниль свою я вижу до последнего волокна и люблюсь: она у меня тоже первоклассная. Хорошо сказано. Видите — опять.

Вершина моего творчества пришлась на Пятигорск. Я жил тогда в свердловском телемастере, и профком выдал ему путёвку: двадцать четыре дня, радикулит, нажитый над чужими «Рекордами». Утром — Цветник, духовой оркестр в раковине, очередь в галерею, у каждого фаянсовый поильник; вода тёплая, пахнет тухлым яйцом и, если принюхаться, морем. В Провал я не заглянул: не люблю ям. У подножия Машука стрелялся поручик, сочинивший офицера, у которого глаза не смеялись, когда он смеялся. Тот на этих самых водах от скуки ломал чужие судьбы. Любительство.

Я отпил и сказал соседу, зоотехнику из Кургана:

— Минеральные воды — вот в чём соль.

— Это да, — кивнул зоотехник. — У меня кислотность.

Записать было некому: в галерее сорок человек, и все сорок пили. Поручик бы позавидовал. В тот же заезд я станцевал с чужой невестой, а потом пересказал жениху, о чём она молчит. Слово в слово. Свадьбы не было. Обидно до сих пор — не за свадьбу, за фразу. Запомнил её только поильник, с Машуком на боку. Хозяин увёз его в Свердловск и до самой смерти держал на телевизоре, на вязаной салфетке.

Сейчас я в Копани. Это последнее место, где меня станут искать. Мне пришлось уйти очень далеко, чтобы его найти.

А искать меня есть кому.

Он всегда стоит там, куда не падает свет.

# ГЛАВА ПЕРВАЯ.

## ОДНАЖДЫ В КОПАНИ

Первой, кто за ту клятую неделю заговорил со мной по-человечески, оказалась зажигалка.

И не надо вот этого вашего лица. Я не бухой был. То есть бухой, но вчера, а в тот момент — в той стеклянной, звенящей трезвости, какая бывает только с адского бодуна, когда мир вымыт изнутри хлоркой и слишком, капец как слишком чёткий. Версию с глюками, ребята, отметаю сразу, как профессионал. Я по этим глюкам, считай, кандидат наук. Защищался двадцать лет, полевые исследования, лаборатория — вот эта вот кухня.

Если честно, я давно ждал, что со мной кто-нибудь заговорит изнутри. Думал — печень. Я даже знал, что она скажет. Лежал как-то в наркологии, листал там затёртый журнал, где органы рассказывали о себе от первого лица, и с тех пор мне это снилось: «Я — Герина печень. Я ненавижу Геру».

Но печень молчала, как партизан. Заговорила зажигалка. Зелёная, прозрачная, газа на доньшке, колёсико жжёт палец. Я щёлкал ею над сковородой, где подыхала яичница, и она говорит:

— Гера, ты, долбоёб, опять в четверг газ не выключил. Я, между прочим, волновалась.

— Ты базаришь, — говорю.

— Я всегда базарила, — отвечает с обидой такой пластмассовой. — Просто ты наконец-то придал мне достаточно значения. Знаешь, сколько раз ты за месяц хлопал себя по карманам — меня искал? Двести тридцать один. Ни одну бабу ты так не искал, ни мать родную.

Крыть было нечем. Вообще нечем.

Тут важно, чтоб вы меня правильно поняли, а то сейчас начнётся: шиза, белочка, вызывайте мальчиков в белых халатах. Зажигалка не живая. Я не дурак, я четыре курса физфака отучился, пока меня не попёрли за пьянку и за курсовую про законы сохранения в открытых системах, которую научрук назвал «поэзией, а не физикой, Герман». Зажигалка — китайская пластмасса за сорок рублей, внутри газ, сверху кремний. Разговаривал я. Это мой собственный голос нашёл в ней, где пристроиться, потому что во мне самом ему жить было уже негде. Человек, которому некому сказать, начинает говорить вещами. Вы тоже так делаете, просто стесняетесь: материте ноутбук, уговариваете машину завестись, говорите кофеварке «умница». Я всего лишь дошёл до стадии, когда вещи отвечали моим голосом увереннее, чем я сам.

И говорили, суки, правду. Вот что было обидно.

Район, чтоб вы понимали географию ада, назывался Копань. Слово, которое не переводится ни на один язык, русский в том числе. Если б я вырос в деревне и был слегка того, может, Копань бы меня и впечатлила. Но я вырос тут, и

я не того.

Говорят, когда-то тут брали глину для кирпичного завода и вырыли яму размером с небольшое море. Потом глина кончилась, яму залило, при Брежневке засыпали строительным мусором и поставили на краю девять серых домин по двенадцать этажей — кругом, как зубы во рту у старухи, которая давно разучилась улыбаться. Посередине — площадь. На площади — вечно протекающий ларёк «Продукты 24», ломбард «Золотой телец» и зал игровых автоматов «Фортуна», переживший три запрета азартки так же легко, как таракан — ядерку. Сам завод ещё двадцать лет коптил небо за пустырьём на привозной глине и сдох в девяносто шестом, оставив после себя трубу, ржавые ворота и сотню мужиков, которым по утрам стало некуда идти.

Пахло в Копани всегда одинаково: котельной, мокрой собакой, жареным луком из чужих форточек и чем-то ещё. Вот это «ещё» я лет двадцать не мог назвать, а потом летом поехал к тётке под Анапу — и узнал с первого вдоха, аж колени подогнулись. Так пахнет море. Йод, гнилые водоросли, рыба, глубина. До ближайшего моря от Копани тысяча восьмисот километров. Но в сырые октябрьские ночи, когда тянуло с пустыря, район пах так, будто под асфальтом лежит что-то огромное и мокрое и медленно, очень медленно дышит. Собаки в такие ночи не выли. Ложились на брюхо посреди двора, мордой к центру площади, и слушали.

Народ в Копани был тихий и какой-то недодёланный. Я

не гоню на людей. Просто они были — ну, массовка, биомусор без бэкстори. Спросишь дядю Витю с пятого «как сам?» — он тебе «нормально», и ты нутром чувствуешь: за этим «нормально» ничего. Чёрный экран. End of file. Попробуй представить ребёнком кассиршу из «24» — мозг виснет, как при делении на ноль. Она, по-моему, так и появилась на свет: сразу в синем фартуке, сразу с этим лицом, сразу с фразой «пакет нужен?».

Зато в каждой хате орал телевизор. Ток-шоу, стрельба, реклама, снова стрельба. Телевизор в Копани был как погода — только рукотворная: никто её не заказывал, а промокли все. Вечером идёшь через двор, а из всех окон разом, в девяти домах, со всех двенадцати этажей, светит одно и то же голубое мерцание, и в нём одна и та же студия хлопает одной и той же смерти. Как будто весь район — один сплошной глаз, и смотрит он не наружу.

Были ещё пустые.

Это у нас так говорили — шёпотом, как про рак. Живёт человек, пьёт, как все, ругается, как все, а потом его находят дома перед включённым телевизором — живого. Дышит. Пульс есть. Глаза открыты. Не моргает. Ложку до рта не доносит, на имя не откликается. Из областной приезжали, сказали: отравление суррогатом, поражение лобных долей. Только суррогат у всех был разный, а глаза — у всех одинаковые. Распахнутые так, будто их кто-то держал. И на веках — маленькие красные вмятинки, по две сверху, по две сни-

зу, как от зажимов. Этого в областной не записали.

И ещё одну деталь не записали, а у нас знал каждый. У пустого всегда пропадала одна вещь. Самая его. У дяди Коли из третьей домины — отцовские часы «Победа», которые он заводил каждое утро с семьдесят третьего года. У бабы Гали — обручальное кольцо, которое она сорок лет не снимала, даже когда пальцы распухли. У Серёги-афганца — медаль «За отвагу». Вещи потом всплывали в «Золотом тельце», на витрине, под стеклом, с аккуратной биркой, почерком как в прописях. Кто сдал — не помнил никто. Серёгину медаль я видел своими глазами. Она лежала на зелёном бархате и выглядела живее Серёги. Серёга в тот момент сидел у себя на кухне и смотрел, не моргая, в выключенный холодильник.

Ломбард, как и «Фортуна», и ещё полрайона, принадлежал Денису Палычу.

Денис Палыча никто не видел. Вот так вот: человек держит район, собирает с ларьков, решает с ментами — а его никто не видел. Говорили, что он сидит в задней комнате «Фортуны», где лампочка перегорела в девяносто восьмом и её так никто и не поменял. Говорили, что по ночам он приходит в ломбард и не включает свет, а утром на витрине появляются новые бирки. Говорили, что собаки в Копани молчат только в одном случае — когда он рядом. Говорили, что у него есть мальчики в белом, которые делают для него грязную работу, и что у одного из них ресницы покрашены только на одном глазу. Говорили много чего. Копань вообще лю-

била говорить. Больше у неё ничего не было.

Я был ему должен. Сто восемьдесят тысяч — «Фортуне», а значит, ему. Как я их задолжал — отдельная песня, и поёт её Барабанщик.

Барабанщик — это автомат в «Фортуне». Старый слот, три барабана, вишни, семёрки, колокольчики. Итальянец, между прочим, восемьдесят девятого года выпуска, табличка на боку стёрлась до слова «Bella». У него была биография, какой у меня никогда не будет. Его собрали в Болонье, морем привезли в Одессу, в девяносто втором он стоял в казино на Тверской, где в него проигрывали заводы, пароходы, бандиты в малиновых пиджаках и один народный артист, которого через месяц выловили из Москвы-реки. В две тысячи девятом азартку запретили, и Барабанщика, как заслуженного ветерана, погнали по этапу — подвалы, сауны, задние комнаты, — пока он не осел в Копани, в «Фортуне», как старый вор в законе на покое. На левом боку у него была вмятина от пули: кто-то в девяносто шестом не согласился с вишнями. Барабанщик знал о человеческой жадности больше, чем все философы вместе взятые, потому что видел её не в книжках, а в лицо, тридцать с лишним лет, по шесть секунд за прокрут.

Вот вам и вся разница. У железяки — Болонья, Одесса, Тверская и пуля в боку. У меня — физфак, который я не закончил, и мать, которую я не навещал.

Я в эту шарманку вложил больше души, чем в покойную мать, царствие ей небесное, если оно есть, в чём я теперь

сильно сомневаюсь по причинам, которые ща изложу.

Говорил Барабанщик, понятно, моим голосом. Но говорил то, чего я сам себе сказать не решался.

— Слышь, — говорит, когда я в очередной раз скормил ему деньги, которых у меня, безработного, по идее быть не могло, но они заводились сами, как мыши в хлебнице, и всегда в долг. — Ты же понимаешь, родной, что я не отдам.

— Отдашь, — говорю. — По теории вероятности обязан.

— Гера. — Он говорил устало, как нарколог, который двадцать лет объясняет, что бухать вредно. — Нет никакой теории вероятности. Есть ты, есть я и есть твоя потребность во мне нуждаться.

— Ты меня жрёшь, — говорю.

— Это просто жрачка, Гера. — Барабанщик снисходительно мигнул лампочками. — Все божьи твари так делают, в той или иной форме. Зайди в лес — там все друг друга жрут. Люди жрут лес и называют это промышленностью. А когда мы, железки, жрём людей, вы почему-то называете это зависимостью. Двойные стандарты, братан. Я не злой. Я таким родился.

— И чё теперь?

— А теперь я живой ровно настолько, насколько ты в меня веришь. А веришь ты так, что я, считай, живее тебя, мудака.

— Ну, это, типа, чисто твоё мнение, братан.

— Доказать? Назови фамилию отца.

Я открыл рот.

Там, где положено лежать фамилии отца, лежали вишня, семёрка, вишня.

На седьмой день под дверью у меня лежала записка. Тетрадный листок в клетку, сложенный вчетверо — ровно, уголок к уголку, как складывают не записки, а документы. Почерк — идеальный, круглый, с нажимом, как в прописях первоклассника, который очень старается, чтоб его приняли за своего:

*«Долг можно закрыть. Задняя комната. Три часа ночи.  
Д. П.»*

Бумага пахла молоком.

# РАСКЛАДКА ПЕРВАЯ. ТИБЕТ

На высоте четырёх с половиной тысяч метров небо не над тобой, а вокруг. Оно начинается прямо от щиколоток, синее до черноты, и, если долго смотреть вверх, днём видно звёзды. Воздуха там так мало, что каждую мысль приходится додумывать дважды.

Я родился там в чёрной палатке из ячьей шерсти, у кочевников-дрокпа, лет четыреста назад, — сына пастуха пустил к себе переночевать и задержался. Палатка пахла кизяком: сушёный ячий навоз горит долго, бездымно и сладко, и в Тибете это запах дома, как у вас — запах борща. Мать сбивала чай в длинной деревянной маслобойке — чай, масло, соль, — и звук этот, глухое чавканье поршня, был первым, что я услышал в той жизни. Отец месил цампу — жареную ячменную муку — прямо в чашке, пальцами, с маслом и остатками чая, и скатывал мне шарики размером с орех. На перевале над стойбищем трепались на ветру выцветшие флажки, синие, белые, красные, зелёные, жёлтые, — «ветряные кони»: каждый взмах ткани уносил в небо молитву, отпечатанную на ней. Люди там поручали молиться ветру. Ветру было не трудно.

Мне было два года, когда пришли монахи.

Их было пятеро, в бордовом, с лицами, обожжёнными до цвета седла. Их старый настоятель умер прошлой зимой, и

они ходили по нагорью, искали, где он родился снова. Так это у них заведено: великий лама не уходит, он переезжает, а ученики находят новый адрес по приметам. Озеро, в водах которого прорицателю привиделась палатка у кривого камня. Дым, который от погребального костра пошёл на восток. Пастушья собака, которая никогда не лает на чужих.

Они разложили передо мной на войлоке вещи. Двое чётков. Два колокольчика. Два дорожных посоха. Одни настоящие — старика. Другие — точно такие же, купленные на базаре в Лхасе, для проверки.

Я не знал, что я ищу. Я был двухлетним пастушонком с соплями до подбородка. Но одни чётки на войлоке — тёмное сандаловое дерево, сто восемь бусин — были... громче. Вот единственное слово. Не живые, нет. Громче. Старик перебирал их шестьдесят лет, каждое утро, большим пальцем от себя, и в каждую бусину налил по сто тысяч мантр. Дерево было отполировано до стеклянного блеска, а смысла в нём было столько, что он стоял над чётками, как жар над дорогой. Базарные чётки рядом с ними были просто деревяшками. Совершенно мёртвыми.

Я схватил старые и сказал:  
— Моё.

Старший монах заплакал. А я тогда впервые понял то, что потом подтверждалось в каждой жизни. Вещи узнали меня раньше, чем я — их. Не потому, что они что-то помнили. А потому что люди вокруг меня помнили меньше, чем эти

бусины.

Монастырь стоял на гребне, белый, с красными стенами под самой крышей, — издалека он был похож на кусок сахара, приклеенный к скале. Внутри было темно и пахло прогорклым маслом: в главном зале горели тысячи масляных ламп, медные чашки с фитилями, и копоть столетиями ложилась на лица божеств на стенах, пока у тех не остались одни глаза. По утрам с крыши гудели трубы — длинные, в три человеческих роста, — и звук был такой, будто под горой ворочается кто-то огромный и недовольный. Монахи пели горлом, на два голоса из одной глотки. Во дворе молодые спорили о пустоте: один задаёт вопрос, второй отвечает, и спрашивающий с размаху хлопает в ладоши у противника под носом, топает ногой — прихлопывает его невежество, как муху.

Меня учили читать, медитировать и считать бусины. Я учился быстро — подозрительно быстро, говорили наставники. Я ведь не учился. Я вспоминал.

Вспоминать, как выяснилось, приятнее всего при свидетелях.

В одиннадцать меня пустили спорить во дворе, и я начал цитировать. Дигнагу — в подлиннике, на санскрите: в нашей библиотеке стоял только тибетский перевод с ошибкой в третьей строфе, и ошибку я тоже показал. Сутры на пали. А однажды — язык без имени. Я не знал, что умею, пока слова не оказались во рту. Они были тёплые, будто их только что

произнёс кто-то внутри.

— Откуда это? — спросил наставник.

— Из Наланды.

— Наланду сожгли много веков назад.

— Знаю. Она горела три месяца. Я помню, как пахло.

Двор грохнул: ринпоче шутит.

Ловить человека на его же логике просто. Логика — дом, который строишь всю жизнь: помнишь, где крыша, а где вынул кирпич из одной стены, чтобы заткнуть дыру в другой, — забываешь. Я не забываю ничего. Ничего чужого, во всяком случае. К двенадцати со мной перестали спорить сверстники, к тринадцати — их учителя.

Геше Лобсанг сидел в этом дворе сорок лет и ни разу не встал побеждённым. Приземистый, с бычьей шеей и ладонями, сплюснутыми от хлопков. Прежде чем ответить, он неторопливо поправлял на плече накидку, и спрашивающий успевал забыть своё имя.

Он сам сел передо мной на место отвечающего.

— Ринпоче цитирует книги, которых нет, — сказал он двору. — Это называется ложью, даже если лжёт перерождение. Пусть ринпоче спрашивает.

Я намотал чётки на левое запястье и крикнул «Дхих!» — слог бодхисаттвы мудрости: им здесь стучатся в спор, как в дверь. Я не стучался. Я входил, как к себе домой.

— Возьмём предмет: геше Лобсанг. Следует, что он существует сам по себе, без частей и без имени?

— Не принимаю, — лениво сказал он.

— Значит, геше Лобсанг — имя, приложенное к собранию частей?

— Принимаю.

— И сорок лет побед — имя, приложенное к собранию дней?

— Принимаю.

Хлопок у самого его носа: ветер от моих ладоней шевельнул ему ресницы.

— Покажи, в каком из дней лежат победы. А непобедимый где лежит — в колене? В языке? В этой капле на губе? Следует, что непобедимого геше Лобсанга нет!

Он поднял руку к накидке — и не поправил.

Двор понял раньше него. Скажет «не принимаю» — и он, всю жизнь учивший пустоте, сидит с собственным «я» за пазухой, как с краденым. Скажет «есть, но условно» — значит, сорок лет гордился условностью, и это слышит весь двор. Скажет «принимаю» — побед не было.

— Принимаю, — сказал он наконец. Он был честный старик.

Хлопок. Притоп. И ещё хлопок: второго устав не требовал, мне просто понравился звук.

— Тогда вставай. Пустое место не может сидеть.

Двор завыл от хохота. Я стоял в этом хохоте, как в горячей воде, и не хотел вылезать.

Я показал ему при всех уголок той карты, которую сам не

переворачиваю никогда: что нет его. Чужая карта, оказалось, пальцы не жжёт. Даже весело.

Лобсанг встал и ушёл сквозь пар над котлами. Его чётки остались во дворе. Их обходили, как спящую собаку, и до первого снега они были громче всех, кто там ещё спорил.

Больше он не сказал ни слова. Ушёл в пещеру над монастырём, сам заложил вход камнями до половины и прожил там четырнадцать лет. Послушники, носившие ему цампу, видели: сидит лицом к стене и иногда поднимает руки для хлопка — и останавливает ладони на ширине ячменного зерна. Я мог подняться к нему и соврать, что пошутил. Не поднялся. Мне было интересно, сойдутся ли ладони. Так его и нашли: руки у груди, между ладонями зазор.

Мне понравилось. Раз уж мы без обид — очень. Это было лучше масляного чая на морозе. Сто восемь пар глаз смотрят на тебя одного — и в мироздании становится не так пусто: раз тебя видно, значит, есть кому видеть. Арифметика неверная. Работает безотказно. Пока двор хохотал, я не слышал счёта.

С тех пор я ходил во двор, как другие ходят к бутылке: каждый вечер, а к полудню уже чесались ладони. Пробовал спорить сам с собой — не вышло: я всегда знал, что отвечу. Получалось эхо. Эхо я потом заведу себе нарочно.

Тщеславие — не грех. Это способ проверить, есть ли в зале кто-нибудь, кроме тебя. Эту фразу я берёг четыреста лет — специально для вас.

В тот вечер, когда ушёл Лобсанг, смеялись все, кроме троих на галерее. Амчи Дава, лекарь, читавший по чужому запястью двенадцать пульсов, — а тогда державший три пальца на своём. Оракул Пасанг, кутэн: тело, которое по праздникам одалживали защитнику монастыря, а в будни — маленький кроткий человек. И чодпа Норбу с трубой из человеческой бедренной кости за поясом: по ночам он кормил собою демонов на кладбище и к завтраку возвращался бодрый, как с базара.

Они не хлопали. Они смотрели на меня, как соседи смотрят на дом покойника, в окне которого ночью кто-то зажжёт лампу.

Я поклонился им, как хозяин кланяется засидевшимся гостям. Ни один не кивнул в ответ. Я списал это на стариковскую зависть. Я тогда многое списывал на зависть.

А ещё там делали мандалы из песка.

Четверо монахов садились над деревянным кругом и неделями насыпали из тонких медных трубочек цветной песок — песчинку к песчинке, водя по трубочке железным прутом, чтобы песок сыпался тоненько, как время. Дворцы, ворота, божества, огни, океаны — целая вселенная размером со стол. А в последний день главный лама проводил по ней ладонью. И всё. Вселенную ссыпали в кувшин и несли к реке.

Я смотрел на это и не мог отделаться от мысли: они делают то же, что и я. Раскладывают, чтобы смести. Иначе страшно. Вы, наверное, думаете: а людей ты там видел — кроме тех,

кто смотрел на тебя? Видел. Они были. Одни монахи жили так, что смысл с них капал, как масло с лампы, — такие светились даже в полумраке зала. Другие молились, как жевали: челюстями, не головой. Пятьдесят лет в одном монастыре, сто тысяч простираний, гора начитанных сутр — и ни грамма в глазах. Эти были тусклее своих чёток. Гора всегда честна: на высоте видно, кто горит, а кто просто коптит.

Мне было двадцать девять, когда я ушёл в темноту.

Есть у них такая практика: сорок девять дней в полной темноте. Келья в скале, вход замурован, еду подают через изогнутый лаз, чтобы не пропустить ни лучика. Ни звука, ни света, ни времени. Через неделю в такой тьме глаза начинают видеть то, чего нет. Через две ум начинает показывать себе кино. Через месяц он забывает, где кончается он сам и начинается камень.

А на тридцатый день я понял, что я здесь один.

Не в келье — вообще. Тьма сняла с меня всё, что я накопил за жизнь, и под всем этим лежал тот самый счёт: раз, раз, раз. Холодный, как дно колодца. Ещё полшага — и я бы вспомнил, что так было всегда.

И я сделал то, что делают все одинокие дети, когда им страшно ночью. Я придумал себе друга.

У них даже слово для этого было — тульпа. Существо, сотворённое мыслью. Старые книги говорили: сильный ум может сосредоточиться на образе так долго и так плотно, что образ сгустится и начнёт существовать сам. Книги прибав-

ляли: не советуем. Я тогда решил, что это монашеское замкнутство.

Сначала я придумал ему запах — немного сандала, немного овчины. Потом звук дыхания, чуть позже моего, на полвдоха. Потом тяжесть: войлок рядом со мной слегка проминался, будто кто-то сел. Потом голос — сперва он просто повторял мои слова, с задержкой, как эхо в ущелье. Потом начал заканчивать мои фразы. Потом — начинать.

Я лепил его с себя, как лепят из воска. Дал ему всё: свою память, свои слова, свой способ смотреть. Всё, кроме одного. Нехватки я ему не дал. Пожалел. Мне хотелось, чтобы во всём мироздании был хоть кто-то, кому ничего не нужно. Кто не скулит, не просит, не тянет руку. Чистый, сытый, спокойный собеседник.

Это была самая страшная ошибка за всю мою вечность. Тогда я ещё не знал, что живым делает именно нехватка. Что смысл — это то, чем заполняют дыру, и тот, у кого нет дыры, не может быть наполнен ничем. Он может только брать — и пропускать сквозь себя, как сито воду.

На сорок девятый день замурованный вход разобрали. Хлынул свет — белый, режущий, горный, я ослеп на сутки и плакал, как новорождённый.

Друг за мной не вышел.

Он остался там, куда свет не доставал. В дальнем углу кельи, за выступом скалы.

С тех пор он всегда там. В каждой комнате есть угол, ку-

да не дотягивается лампа. В каждом дворе — подворотня. В каждом лице — место под бровями, куда не заглядывает солнце. В каждом человеке — то, куда он сам никогда не смотрит.

Первым его почуял монастырский пёс — чёрный, огромный, тот самый, что не лаял на чужих. Он перестал заходить в мою комнату. Ложился у порога, мордой внутрь, и так лежал всю ночь, не сводя глаз с угла за сундуком, а шерсть у него на загривке стояла дыбом до утра.

Потом лампы. Когда я сидел над сутрами, огоньки масляных ламп начинали клониться — все разом, в одну сторону, в темноту за моей спиной. Будто их втягивали. Будто там кто-то медленно, глубоко вдыхал.

Потом повар, старый и почти слепой, однажды поставил передо мной две чашки чая.

— Зачем две? — спросил я.

— А тот, что за вами, ринпоче, — сказал он. — Он всегда за вами стоит. Я думал, вы его привели из гостей.

Я пытался его растворить. Книги говорили, что это возможно: tulpu распускают так же, как сотворили, — вниманием, только вывернутым. Полгода я каждую ночь сидел и разбирал его в уме по ниточке. Запах, дыхание, голос. Иногда мне казалось, что получается. А потом я понял, что он просто стоит тише. Он научился. Я сделал его из себя, а я всегда хорошо учился.

А однажды утром на общем молебне в главном зале ока-

зался лишний монах.

Все сто восемь были на месте, я сам пересчитал по бусинам. И сто девятый — в заднем ряду, в тени колонны, куда не доставали лампы. Он сидел в бордовом, как все, и беззвучно шевелил губами вместе со всеми — на полслога позже. Когда молебен кончился и монахи поднялись, его не было. Потом никто не смог сказать, как он выглядел. Все помнили одежду, позу, губы. Лица не помнил никто.

Он учился быть человеком. По мне, как по учебнику. А учебник, признаю, был паршивый. Открывал он его не с начала, а там, где я загибал уголки.

Как-то ночью со двора донёсся хлопок — сухой, звонкий, каким у нас стучатся в спор. Двор был пуст: луна, иней на камнях. Потом мой голос, на полвдоха позже: «Следует, что тебя нет!» Утром самый младший послушник, восьмилетний, тот, что носил мне воду, сидел в углу кухни лицом к стене и держал ладони у груди на ширине ячменного зерна. Его неделю отпаивали чаем. С кем он спорил ночью, мальчик так и не сказал. Сказал только, что тот был очень вежливый и ни разу не повысил голос. Ладони он так и не свёл.

Про меня, к слову, тоже был учебник. Только написан он был задолго до того, как я въехал в эту жизнь.

Он лежал в библиотеке на нижней полке, за сутрами, которых никто не читал: стопка длинных узких листов между двумя дощечками, в шёлке цвета жидкого чая. Бумагу в Тибете варят из ядовитого корня, черви её не едят, и книги там

переживают своих читателей. Яд вообще хорошо сохраняет. Заглавие было скучное, как у всего по-настоящему страшно-го: «О признаках гостя».

Гость, писала книга, входит в человека, как путник в дом на перевале: хозяин спит, гость садится к очагу, и хозяин, проснувшись, думает, что развёл огонь сам. Гость не ест, но в доме убывает. Он знает то, чему его не учили. Вещи узнают его прежде людей. За ним ходит тень, которую некому отбрасывать. А если гость загостится, в собрании станет на одного больше, чем есть.

Как выгнать гостя, книга тоже объясняла — на последнем листе. Последний лист был чистый.

Я нашёл её в шестнадцать и полдня ходил счастливый, как поэт, которого впервые напечатали. Меня описали — сухо, точно, без восторгов. Про тень и про лишнего в собрании я тогда не понял. Понял через тринадцать лет.

Книгу читал не я один. Те трое с галереи знали её задолго до меня. Пасанг — потому что по праздникам сам сдавался внаём и хотел знать, кто ещё снимает в этом районе. Норбу — потому что любил знать своих гостей по именам: его практика называется чод, «отсечение», и отсекают в ней не тело, а того, кому тела жалко. А Дава — потому что лекарь читает всё, что лежит на нижних полках.

Сто восемь монахов. Сто девятый — за колонной. Дава тоже пересчитал по бусинам.

А потом Даву позвали за перевал, в соседнюю долину, к

пастуху, которому як распорол бедро. Палатка стояла у кривого камня. Пастух был мой ровесник, небритый, с руками в ячьем жиру, и с утра пил чанг, ячменное пиво, — как пьют люди, которые давно что-то потеряли и забыли что. Пока Дава шил ему ногу жильной ниткой, пастух взял с войлока его чётки, повертел и начал перебирать — большим пальцем от себя, как во всём монастыре перебирал только покойный настоятель. Потом отдал. Сказал: «Хорошие». Читать он не умел.

Дава взял его за запястье. Пульс под пальцами был не пастуший — старый, вежливый, упрямый пульс человека, который шестьдесят лет вставал до рассвета на молитву. Тридцать с лишним лет назад Дава слушал его у постели умирающего настоятеля. Узнал, как узнают голос за стеной.

Монахи, искавшие перерождение, свернули тогда с перевала не в ту долину. Кривых камней в Тибете больше, чем прямых.

Так я узнал, что сломал человеку жизнь, ни разу его не увидев. Я просто сел на его место, а место было одно. Каждое утро, когда с нашего гребня гудели трубы, он, говорят, останавливался и поворачивался на звук, а яки стояли и ждали. Признаюсь, это одна из самых изящных моих работ: я для неё пальцем не шевельнул. Когда Дава мне про него рассказал, я полдня думал о пастухе с искренним интересом. Потом перестал.

Они пришлико мне зимой, через три года после затвора.

Втроём, ночью, и не со страхом — с тем лицом, с каким лекарь входит к больному, которого ещё можно спасти, если больной не будет мешать. Сели на войлок. Норбу разлил чай — чай, масло, соль — и одну чашку, ни о чём не спрашивая, поставил в угол за сундук.

— Так вежливее, — объяснил он.

Дава попросил мою руку. Пульс в Тибете слушают тремя пальцами, и мерило у лекаря — собственное дыхание: у здорового пять ударов на вдох и выдох амчи. Дава дышал размеренно, как качают мехи, и переставлял пальцы, как переставляют фигуры, когда партия не сходится.

— Двенадцать в порядке, — сказал он наконец. — Но под ними бьётся тринадцатый. Он ни к чему не привязан, ринпоче. Один удар на мой вдох. Всегда один. Будто не знает, что бывают другие числа.

Я промолчал. Я знал этот пульс. Я с него начинался.

Все трое посмотрели в угол. Чай в той чашке давно остыл и затянулся жёлтой плёнкой масла. В плёнке была ямка — маленькая, круглая, как от осторожного дуновения. Так дуют на горячее.

— Наш настоятель пасёт яков за перевалом, — сказал Дава так же ровно, как называл пульсы. — А вы — гость. Мы не сердимся. Гость — болезнь, как водянка. Её лечат.

Меня за всю вечность пытались убить, изгнать, задобрить, сжечь вместе с домом. Лечить не пробовал никто. Я согласился — из любопытства и, не буду скромничать, из тщесла-

вия: хотелось посмотреть, как они будут стараться.

Первым старался Дава. Он принёс драгоценную пилюлю — чёрный шарик с горошину в лоскутке шёлка, перевязанный нитками пяти цветов и запечатанный воском. Внутри — толчёный жемчуг, коралл, бирюза, золото, мускус, шафран и семьдесят трав, собранных до восхода. Я развернул шёлк, понюхал и засмеялся.

— Что смешного, ринпоче?

— Я варил такие при дворе Тан. Только ртуть у меня была живая.

— И как?

— Мои действовали надёжнее, амчи. Трое императоров. Трое из трёх.

Дава смотрел на меня, как смотрят на больного, который шутит про собственную опухоль. Пилюлю я выпил на рассвете, глядя на восток, как положено. Телу помогло: прошла изжога, которой оно мучилось с юности. Мне — нет. Пилюли лечат квартиру, а не жильца. Неделю у меня изо рта пахло шафраном. Из угла за сундуком — тоже.

Норбу подошёл к делу практичнее. Если гостя нельзя выгнать, рассудил он, его можно переманить. Он слепил лю, выкупное тело: человечка в локоть ростом из цампы на масле. Вмесил туда мои волосы и обрезки ногтей, одел в лоскут от моей накидки, глаза сделал из двух угольков. Я триждыдохнул на него, как велели, и потёр им лоб, грудь и колени. От выкупного тела пахло ужином.

Я осмотрел его, как осматривают комнату, прежде чем снять. Окон нет, потолок низкий, пахнет маслом.

— Ты зовёшь меня переехать в пирожок, — сказал я. — Я жил в императорах.

— Цампа честнее императоров, ринпоче, — сказал Норбу.

Это была лучшая реплика за весь тот вечер, и сказал её не я. Этого я Норбу так и не простил.

Но хозяин старался, и отказать было бы невежливо. Я переехал — на одно мгновение, ровно настолько, чтобы оглядеться.

Масло на шее у человечка треснуло — тихо, как ледок на луже. Он повернул голову к Норбу и посмотрел на него угольками.

Норбу, сорок лет рубивший себя на куски для демонов, отъехал от него к стене, не вставая.

— Не подошло, — сказал я уже своим ртом. — Нет окон.

Человечка всё равно отнесли на перекрёсток трёх троп, как велит обряд. Его не тронули ни вороны, ни собаки: деревенские псы лежали поодаль кругом, мордами к нему, и молчали. Через месяц он лежал там же, растрескавшийся, с моими ногтями внутри, лицом к монастырю.

Тогда Норбу повёл меня на гору.

Ночью, на морозе, плоский камень, на котором днём раздвигали мёртвых для грифов, чернел и лоснился, как точильный. Пахло старым жиром и костяной пылью. Грифы

спали на уступах, неотличимые от камней. Норбу сел лицом к темноте, ударил в барабан — сухо, часто, как стучат на холоде зубы, — и затрубил в кость. Бедренная кость поёт тонко, на одной ноте, как жеребёнок, которого оставили одного, и нота эта значит одно: приди. В уме Норбу выходил из себя через макушку, ставил собственный череп котлом, варил себя и раздавал всем, кому задолжал в прошлых жизнях. Чтобы не набегали проценты.

Никто не пришёл.

Кладбище было пусто, как вылизанная собакой миска. За сорок лет такого с Норбу не случилось. Я понял почему — раньше него. У края, в тени валуна, кто-то стоял. Голодные не ходят туда, где стоит сытый. Голод боится сытости больше, чем огня: огонь он хотя бы понимает.

Норбу трубил до рассвета. Пришёл рассвет.

Оставался Пасанг.

Его облачали в гонкханге, часовне защитника, — самой тёмной комнате монастыря. С балок свисали чучела: волк, медведь, як с пыльными стеклянными глазами. Ламп было четыре на весь зал, все у статуи, и дальняя половина комнаты стояла в темноте, как в стоячей воде.

На Пасанга надели парчу в четыре слоя, на грудь — круглое медное зеркало, начищенное, чтобы защитнику было куда смотреть. Ударили тарелки, заревели трубы. Пасанг задышал — часто, со свистом, как бегущая собака. Лицо налилось тёмной кровью, губы раздуло, глаза ушли под веки. То-

гда двое монахов подняли шлем — серебро, перья, флажки, весом с трёхлетнего ребёнка — и затянули ремень под подбородком так, что без бога шлем свернул бы старику шею. Пасанг встал. Шлем перестал весить.

Защитник въехал.

Он прошёлся по залу тяжёлым косолапым танцем, звеня зеркалом, мимо писца, мимо алтаря, остановился передо мной, наклонился так, что флажки на шлеме мазнули меня по лицу, и сказал не своим голосом — низким, с присвистом, с выговором долины, в которой лет семьсот никто не жил: — Назовись.

Защитнику горы было лет тысяча двести. Для духа — юность. Для меня — возраст молочного зуба. И этот мальчишка требовал у меня имя.

Вот тут я и не выдержал.

Хотелось бы сказать — от страха. Звучало бы благороднее. Нет: от тщеславия.

Подумайте сами. Меня и раньше спрашивали в темноте: «Ты кто?» Но наугад, как кричат в туман. А тут на меня в упор смотрели трое стариков и один бог, и все четверо знали, что я есть. Меня нашли по книге, выследили по пульсу, предложили квартиру, позвали на ужин — а теперь сам хозяин горы спрашивал, как меня величать. Тридцать лет я раздавал им себя по крошке: цитата тут, чудо там. И мне захотелось, чтобы на меня посмотрели целиком. Один раз. Вы бы удержались? Я — нет.

Имени у меня нет. Поэтому я не назвался. Я поступил щедрее — показался.

Как открывают дверь в комнату, куда сам никогда не входишь: распахнул и отступил, чтобы им было видно мимо меня. Сам я туда не смотрел. Это нетрудно: лектор смотрит не на доску, а в аудиторию. Я смотрел на их лица, и мне хватило того, что было перед глазами.

Лампы. Все четыре огонька у статуи легли набок — разом, в одну сторону, мимо меня, в тёмную половину зала — и вытянулись туда тонкими дрожащими языками, как тянется пламя к открытой двери. Двери были закрыты.

Медное зеркало на груди у Пасанга потемнело и перестало отражать — ни ламп, ни меня. Медь стала похожа на воду в бочке ночью.

Во дворе разом замолчали собаки — на середине лая, будто им зажали пасти ладонью.

Чучело яка на балке медленно, со скрипом верёвки, повернулось мордой в темноту.

Из Пасанга ушёл защитник — торопливо, боком, как выскакивают из горящего дома, не надев сапог. Хозяин горы бежал от меня, как мальчишка из чужого сада. Монахи кинулись к ремню: без бога шлем ломает шею. Но Пасанг стоял. Бог ушёл, а транс остался — пустой, как дом после переезда, с незапертой дверью.

Дава смотрел, и я видел, как у него на шее, под сухой кожей, бьётся жилка. Сначала часто. Потом реже. Потом с па-

узами, в которые свободно помещались вдох, выдох и ещё один вдох.

Норбу засмеялся. Тихо, сначала в бороду, потом громче, — как смеются, когда наконец поняли анекдот, который им рассказывали сорок лет. Он смотрел мимо меня, в темноту, и кивал, как кивают собеседнику.

Они увидели низ колоды. Последнюю карту — ту, которую я не открываю. Я знаю это по одному признаку: они перестали на меня смотреть. Кто видел последнюю карту, на остальные не смотрит.

Даву утром нашли в его келье. Он сидел, держа себя тремя пальцами за левое запястье, и считал вслух:

— Раз...

Долгая пауза.

— Раз...

Так он считал девять лет. Ел, если клали в рот, спал сидя и пальцев не разжимал. До «двух» не дошёл ни разу. Я когда-то придумал «два», чтобы было не так одиноко. Дава застрял до этого изобретения — там, где я начинал.

Пасанг из транса не вышел. Ремень шлема пришлось резать ножом на третий день. Он сидел на полу гонкханга и раскладывал речные камешки, которые носили ему послушники. Рядами, ровно, по четыре. Разложит, посмотрит — сметёт ладонью. Разложит — сметёт. С утра до темноты, четырнадцать лет. Монахи говорили, что он делает мандалу. Я знал, что он делает: мой пасьянс, только без правил — пра-

вил он подсмотреть не успел. Почему по четыре, я понял только в Шанхае.

Норбу сел в главном зале в дальний угол, за последнюю колонну, куда не доставали лампы, — туда, где когда-то сидел сто девятый. И разговаривал — тихо, учтиво, с паузами, в которые ему, видимо, отвечали. Иногда смеялся. Кормили его там же, с ложки, в темноте. Спрашивали, зачем он там, — отвечал охотно, как человек, нашедший хорошее место на постоялом дворе:

— Тут хорошо. Тут ничего не нужно.

Сорок лет он предлагал своё тело всем демонам Тибета, и ни один не взял. Взял тот, кому ничего не нужно. У того, в углу, впервые появился второй собеседник. Я, признаться, ревновал.

Теперь про меня. Без скидок.

Сначала было удовольствие. Чистое, горячее, как первый глоток чая на морозе. На меня посмотрели — целиком, до самого низа колоды — и не выдержали. Три сошедших с ума старика: лучшая устная рецензия за всю мою вечность. Письменную мне выдаст один следователь, но до него мы ещё доберёмся.

Потом пришло понимание — ночью, когда я лёг.

Они сошли с ума вместо меня. Мне причиталось одно большое безумие — то, от края которого я бегаю каждую жизнь, — а я раскидал его на троих: Даве — счёт, Пасангу — раскладку, Норбу — того, кто в углу. Край теперь был за-

нят: там стояли три сторожа, и, пока они стояли, мне туда было не нужно.

Много позже один шотландец, сын таможенника из Керколди, описал булавочную мастерскую: один тянет проволоку, второй рубит, третий точит, и вместе они делают булавок в двести сорок раз больше, чем поодиночке. Разделение труда. Я открыл его раньше — на безумии. Булавок не понадобилось.

Я в ту ночь выспался. Без снов, без счёта, на правом боку, как спят сытые. Всю вечность я снимал чужие квартиры. В ту ночь я впервые сдал свою.

Самое отвратительное, что я о себе знаю, — не то, что они сошли с ума. Это была их работа, и они сделали её добросовестно. А то, что мне стало спокойнее. Я говорю вам это ровно, не понижая голоса.

Монастырь ничего не понял и понял всё: трое полезли туда, куда смертным не положено, и защитник их наказал. Мне стали кланяться ниже. Разницу видно по спине: из почтения кланяются шеей, из страха — поясницей. Чай подавали двумя руками и уходили, не поворачиваясь спиной. Лечить меня больше никто не пробовал. Здоровых не лечат.

Только когда я проходил по главному залу мимо последней колонны, из темноты за ней кто-то тихо смеялся. В два голоса. Второй я узнал не сразу: себя со стороны я слышу редко.

Пастух за перевалом пережил всех троих. И меня — на

одну зиму.

Я дожил в том теле до семидесяти девяти. Последние годы делал мандалы сам.

В ту, последнюю, я насыпал песок одиннадцать недель. И на одиннадцатой вдруг понял, что знаю, куда ляжет следующая песчинка. И следующая. И за ней. Что знаю узор целиком, наперёд, до самого края. Что я знаю, кто сыплет песок. Что это — тоже я. И что если поднять глаза от стола, в зале не окажется никого: ни монахов, ни ламп, ни пса у порога — только я и узор, который я раскладываю сам себе от начала времён.

Я поднял руку и смахнул мандалу ладонью. На неделю раньше срока. Монахи ахнули.

Нельзя досыпать мандалу. Если досыплешь — увидишь целиком.

В ту же ночь я умер — спокойно, сидя, как полагается.

Тело отнесли на гору. В Тибете не закапывают: земля промёрзла, дров мало. Покойников отдают птицам — это называется небесным погребением, и это последнее подаяние, которое ты делаешь миру. Специальные люди, мясники для мёртвых, разрубают тело на плоском камне, кости дробят и мешают с цампой, чтоб ничего не пропало, а потом отходят, и с неба спускаются грифы. Десятки. Огромные, коричневые, с голыми шеями. Через час на камне не остаётся ничего, и душа видит, что ей больше некуда возвращаться.

Я видел это сверху. Оттуда, где бываешь между жизнями,

— тибетцы называют это бардо, промежуток. Смотреть на собственное тело во рту у птиц оказалось совсем не страшно. Даже смешно немножко.

Страшно было другое.

Один гриф не ел. Он сидел поодаль, в тени большого валуна, сложив крылья, и смотрел не на камень с мясом. Он смотрел вверх. Туда, где был я. Туда, где меня никто не может увидеть.

Солнце шло по небу. Тени от всех камней на горе поворачивались за ним, как стрелки часов.

Тень от того валуна не двигалась.

В промежутке, говорит их Книга мёртвых, тебе покажут много огней: яркие и тусклые. Иди на яркий, говорит книга, не бойся. Тусклые огни ведут обратно, в рождение, в новое тело, в новую нехватку. Я всегда шёл на тусклые. Там тепло, там пахнет молоком и чьей-то матерью. А теперь у меня появилась ещё одна причина спешить. В ярком свете не бывает теней — но и спрятаться в нём негде. Видно тебя отовсюду.

Я выбрал самый тусклый огонёк, какой нашёл, — мягкий, тёплый, бурый, — и нырнул в него.

Так я стал коровой в Бенаресе. Но сначала — про Геру.

**Г**

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.